

ЭО, 2011 г., № 4

ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ В ЭПОХУ ГОСПОДСТВА ИДЕНТИЧНОСТЕЙ

(Интервью с действительным членом Французской
Академии историком Пьером Нора)

Ключевые слова: история, память, идентичность, Франция, меньшинства, патриотизм

В беседе Е.И. Филипповой с действительным членом Французской академии историком П. Нора обсуждаются проблемы соотношения истории и коллективной памяти, возникновения альтернативных версий истории, написанных от лица меньшинств и противоречащих “официальной” версии, освященной авторитетом власти. Рассматриваются исторические условия, способствующие изменению понимания обществом своего прошлого, роль различных действующих лиц – историков, политиков, учителей, гражданских активистов в дебатах о национальной идентичности. Проводятся параллели между ситуацией во Франции и России на рубеже XX–XXI вв.

Елена Филиппова. Г-н Нора, Ваше короткое, но насыщенное выступление на круглом столе “История, историки и власть”, прошедшем в Москве в феврале 2010 г., вызвало живой интерес российской аудитории – в частности, потому, что многие затронутые Вами проблемы не менее актуальны для России, чем для Франции. Мне хотелось бы в ходе этой беседы остановиться на некоторых из них поподробнее. Но прежде всего я хочу поблагодарить Вас за то, что Вы согласились ответить на мои вопросы.

Начнем с того, какой смысл Вы вкладываете в противопоставление истории и памяти? Вы говорили о том, что для нашего времени характерна подмена истории коллективной памятью. Память, или, вернее, различные версии памяти стремятся навязать обществу определенное видение прошлого; часто они противоречат друг другу, провоцируя так называемые “войны памяти” и разрушая историческое знание. Субъективность памяти, тем более – коллективной, которая на деле есть не что иное, как коллективное воображаемое, очевидна. Но может ли претендовать на объективность история? Всегда ли историк беспристрастен при отборе фактов, освещая одни из них и не придавая значения другим?

Пьер Нора. Да, конечно, бесспорно, между памятью и историей существует фундаментальная разница. Память изначально представляет собой субъективную операцию, даже если речь идет о так называемой “коллективной памяти” – выражение, смысл которого с трудом поддается определению. В отличие от истории память – это эмоциональное переживание, связанное с реальным или воображаемым воспоминанием и допускающее всевозможные манипуляции, изменения, вытеснения, забвения. Она связана с прямым или опосредованным личным переживанием событий прошлого. История – операция интеллектуальная, заключающаяся в реконструкции прошлого на основе документов или иных следов, оставленных этим прошлым. Это всегда гипотетическая операция, тогда как память имеет утвердительный и даже некоторым

образом тиранический характер. История – это процесс, о котором каждый имеет свое представление, в котором у каждого есть свое место. Можно быть не согласным с той или иной версией, предложенной историками, но это несогласие вовсе не затрагивает личные чувства, как это бывает в случае с памятью. Таким образом, наличие между историей и памятью тесной и глубокой, исторической, осмелюсь сказать, связи очевидно.

Но очевидно и то, что вот уже как минимум столетие назад, т. е. начиная со второй половины XIX в., в Германии, во Франции, а затем и во всем мире история выделилась в самостоятельную науку со своими требованиями, правилами и ограничениями, подчиняющуюся определенной интеллектуальной дисциплине, что совсем не свойственно памяти. Различие между историей и памятью во многом оказалось заметным именно с того момента, когда история стала наукой или, во всяком случае, начала использовать методы, свойственные научным исследованиям. Кроме того, у них разные задачи: история (как бы утопично это ни звучало) стремится к установлению истины. Память не интересуется истиной, ее цель – хранить верность определенным воспоминаниям и чувствам. В то же время, история – не вполне наука, а память всегда обманчива. И все же у них совершенно разные сферы компетенции.

Почему же, спросим себя еще раз, проблема соотношения истории и памяти стоит сегодня так остро? А потому, что за последние 30–50 лет как история, так и коллективная память претерпели глубокие изменения, связанные с общим развитием человеческого общества. Жестокие потрясения ввергли мир в водоворот радикальных перемен и способствовали резкому ускорению субъективно воспринимаемого времени. Невозможно поэтому, чтобы свидетели, жертвы или даже просто современники всех этих событий не задавались вопросом о том, как и почему они произошли, и не требовали своего рода объяснений от историков, которые, в свою очередь, одержимы идеей подобные объяснения предложить. Это войны, это государственные преобразования, это, в индустриально развитых западных странах (включая и США), глубокие трансформации самого образа жизни, происшедшие менее чем за 50 лет. Послевоенная Франция была еще вполне крестьянской страной, а к середине 1970-х годов она, как и остальные европейские страны, уже перестала быть таковой: это означает очень серьезные внутренние социальные перемены! Урбанизация принципиально меняет общественную жизнь, немедленно заставляя задуматься, в частности, о сути государственной политики в сфере образования, семьи, регулирования доходов, экономики.

Все это делает приоритетным направлением исторических исследований так называемую историю современности. Еще 30–40 лет назад “быть историком” означало интересоваться античностью или новой историей – периодом XVII–XVIII вв., вплоть до Великой Французской революции 1789 г. для Франции или вплоть до Октябрьской революции 1917 г. – для России. Сегодня совершенно очевидно, что общественный интерес, социальный заказ, да и сами историки все больше ориентируются на современный период. “Заниматься историей” ныне – это изучать современность. Если еще недавно современный период был почти запретным для историков, то сегодня они просто вынуждены обратиться к нему. Этот выход на первый план современной истории, равно как и формирование мощного социального заказа на исторические исследования, абсолютно изменили привычное соотношение между историей и памятью. В результате историки, бывшие прежде своего рода “хранителями прошлого”, его “толкователями”, “передатчиками”, бывшие “голосом прошлого” в современной жизни, постепенно утрачивают былую монополию на прошлое. Сегодня оно принадлежит многим людям, начиная с тех, кто пережил недавние события, и особенно тех, кто пострадал от них.

Е.Ф. В своем выступлении Вы привели очень показательный пример пост-голландского переосмысления истории Второй мировой войны и Сопротивления во Франции. В нашей стране нечто подобное произошло после крушения коммунистического

режима и распада СССР. В то время возникло ироническое определение России как “страны с непредсказуемым прошлым”. Между тем в обоих случаях пересмотру подверглись недавние события, свидетелями или участниками которых была значительная часть населения. Не кажется ли Вам, что эти два примера демонстрируют, с одной стороны, хрупкость, непрочность коллективной памяти перед лицом профессионалов-историков, которые всегда могут обнаружить новые, доселе не известные документы, позволяющие “переписать” историю, а с другой стороны – временный и обратимый характер любого исторического повествования? Можно ли действительно утверждать, что “история не принадлежит никому”?

П.Н. Тоталитарные государства пытались навязать населению некую официальную версию исторического прошлого. Коллективное осознание этого факта способствовало пробуждению интереса к собственной истории после падения тоталитарных режимов. Эта новая версия посткоммунистической или постнацистской истории, разумеется, отличается от реального исторического опыта населения соответствующих стран. Примерно то же произошло в бывших колониях после обретения ими независимости: возвращение к некоей “традиции”, абсолютно забытой и утраченной. Таким образом, мы видим уже две большие группы стран, где люди живо интересуются собственным прошлым и важнейшими событиями в истории человечества. К тому же в демократических странах социальные группы, традиционно находившиеся в меньшинстве, – женщины, рабочие, региональные, сексуальные, религиозные меньшинства, например, евреи, – все громче заявляют о себе, стремятся к самовыражению, сохранению своей идентичности. Не случайно тема “идентичности” возникает одновременно с идеей коллективной памяти и неразрывно связана с ней. Не забудем и о том, что во всем мире между непосредственными участниками событий и историками находится еще целая армия журналистов, располагающая развитыми технологическими средствами и обладающая определенным социальным весом. Именно эта прежде не существовавшая армия освещает события недавнего прошлого. Следовательно, журналисты тоже являются потребителями истории.

За последние 30–40 лет каналы восприятия, производства и потребления исторического знания радикально изменились. В то же самое время, и это очевидно, изменились и усложнились отношения между историей и памятью. Отвечая на один из Ваших вопросов, а именно о том, заслуживает ли одна из них большего доверия, чем другая, я скажу так: их невозможно сравнивать, поскольку они не лежат в одной плоскости. Но Ваш вопрос имеет под собой основания именно потому, что различные версии памяти сегодня претендуют на обладание высшей истиной по сравнению с историей. И в рамках своей сферы компетенции они правы, поскольку возможности исторического воссоздания прошлого безграничны. Даже если история использует воспоминания, стремится учесть их, опирается на них, она все равно не может заменить собой память.

Попросту говоря, есть личный опыт, переживания, чувства, есть своего рода жизненная правда, которую историки, не бывшие непосредственными участниками тех или иных событий, не в состоянии уловить, ощутить. Они никогда не узнают, что это были за переживания, что это были за чувства. Можно реконструировать конкретную коллективную ситуацию, но память, всегда имеющая субъективное, в конечном счете – индивидуальное измерение, обладает той особой правдой о событии, которая недоступна историкам. И как следствие этого, свидетели, и тем более жертвы событий прошлого утверждают, – или, во всяком случае, у них есть такое чувство, – что их правда об этих событиях выше, чем правда историков.

Именно в этом и заключается суть современного конфликта: в основе исторического метода, напротив, лежит принцип недоверия к индивидуальным свидетельствам, их критический анализ. И сегодня нередко наряду с особой формой истины, которую называют “исторической”, установление которой происходит медленно и постепенно

и которая не принадлежит никому в отдельности, существует правда о прошлом, принадлежащая тем, кто в нем жил и кто считает, что историки с их медлительностью, хладнокровием, отстраненностью и критическим взглядом не в состоянии передать эту правду. И они правы.

Так что сегодня в каком-то смысле памяти нужно отдавать приоритет. Я был, наверное, одним из первых историков, которые осознали это – отсюда трехтомное исследование “Места памяти”, опубликованное под моей редакцией¹. Тема памяти в момент его выхода в свет не имела еще столь мощного звучания, как сегодня, когда она приобрела такую, почти тираническую, власть, что мне приходится вместе с другими историками защищать наше право заниматься историей. Я всегда стремился сделать коллективную память частью истории, но никогда не хотел и не хочу быть воинствующим защитником или служителем этой памяти.

Е.Ф. Вы упомянули о таком явлении, как пробуждение коллективной памяти меньшинств, которое сопровождается нередко их виктимизацией и криминализацией прошлого. Вы совершенно справедливо предостерегаете об опасности этой тенденции, возрождающей старые конфликты, страхи и нетерпимость, вместо того чтобы умиротворять их. Возможно ли найти “золотую середину” между долгом памяти и потребностью в забвении?

П.Н. Мы должны постоянно думать над этим вопросом, но я не уверен, что можно найти на него универсальный ответ. Я думаю, в каждом конкретном случае нужно пытаться худо или бедно найти какое-то решение, насколько это возможно. Мне кажется, что противоречия и конфликты памяти – неотъемлемое свойство современного мира. Можно пытаться их подавить, но осознание их принципиальной неустранимости – главное условие их разрешения. Именно поэтому рассуждать так, как я сейчас это делаю, может только историк. Я не могу себе представить, чтобы журналист или, скажем, судья говорили подобные вещи (мы совсем забыли о судьях, а ведь они тоже имеют власть над прошлым). Особенность позиции историка состоит как раз в том, что он пытается историзировать проблему, т.е. разрешить ее в контексте ее исторического развития, объяснить ее. Практическое же ее разрешение – дело не историков, а политиков. Я думаю, что осознание всех этих сложностей – необходимый шаг на пути к умиротворению конфликтов памяти. Я не говорю об их окончательном разрешении, поскольку оно в принципе невозможно. Правда депортированного всегда останется при нем, она неустранима. Что может сделать историк в такой ситуации? Я смотрю на проблему как историк, а не как политик. В политике, я думаю, нет рецептов на все случаи жизни, нет такого механизма, который можно было бы применять к конфликтам определенного типа.

Возьмем пример Катюши: несовместимые позиции, невероятная историческая ложь и, наконец, долгожданная правда. Понадобилось немало времени, чтобы она смогла выйти на свет. И если встреча В. Путина с ныне покойным президентом Польши Л. Качиньским в Катюши была возможной, то это – результат огромной работы историков. Фактор времени, конечно, тоже сыграл немаловажную роль. И я бы еще добавил политические заявления, т.е. высказывания людей, облеченных политической властью. Потому что, в конечном счете, только политики могут дать ответ на всевозможные требования, связанные с преодолением прошлого. Во-первых, дав возможность историкам делать их работу, что уже немало, по крайней мере, не препятствовать им в этом. И во-вторых, если они обладают необходимым для этого моральным авторитетом, направлять определенным образом коллективную память.

И в этом случае я не стал бы оспаривать право политиков заниматься историей, напротив, это их прямая обязанность – работа с коллективной памятью, одним из аспектов которой, далеко не единственным, является история. Обязанность политиков – президента или парламента – задать определенные рамки, общее направление, отдать должное жертвам, в некоторых случаях, возможно, возместить им нанесенный ущерб,

установить перечень государственных праздников и памятных дней, организовать ритуальные акции. Если историки принимают участие в выработке подобных политических решений – прекрасно! Нужно, чтобы политики старались прислушиваться к историкам.

Возьмем пример из французской жизни. Вам, наверное, известна недавняя история, связанная с именем Ги Моке². Президент Н. Саркози в день своей инаугурации потребовал, чтобы отныне во всех школах Франции в первый день нового учебного года в обязательном порядке учащимся читали предсмертное письмо Ги Моке, напоминая им тем самым о подвиге борцов Сопротивления в годы Второй мировой войны. Это очень показательная, хотя на первый взгляд и малозначительная история. Прежде всего налицо явная историческая ошибка. Ги Моке не был участником Сопротивления. Он был арестован французскими властями как коммунист, как сын коммуниста, который добивался освобождения отца, депутата от Коммунистической партии, оказавшегося в тюрьме после заключения пакта Молотова – Риббентропа за сочувствие СССР. К тому же в момент ареста при нем находились листовки, направленные против Великобритании, против Де Голля, против евреев... Но пока Ги Моке находился в тюрьме, Франция была оккупирована фашистами, и умер он, действительно, как участник сопротивления, казненный эсэсовцами.

Кроме того, очень похоже, что знаменитое письмо было написано под диктовку кого-то из старших товарищей – коммунистов, находившихся с ним в одной камере, и изначально предназначалось для истории. Во всяком случае, записка, написанная им другу несколько часов спустя, резко отличается по стилю и выдает сильнейшее эмоциональное переживание, вполне естественное для шестнадцатилетнего юноши, который знает, что должен умереть, и не хочет умирать. Мы знаем, что коммунисты устраивали манипуляции с памятью. В случае с Саркози я не думаю, что это сознательная манипуляция, но, тем не менее, это ошибка. Историки не только имеют право, но и обязаны сказать об этом.

Где проходит та грань, которую, на мой взгляд, не должен переступать политик? Он не может, не имеет права обязывать всех учителей и всех учеников читать это письмо. Если бы он сказал: “я нахожу это письмо трогательным, оно создает образ Сопротивления, я бы хотел, чтобы те учителя, которых оно вдохновляет, читали его своим ученикам”, – это бы никого не смутило. Тем самым он ориентировал бы определенным образом коллективную память. Но если он решает, что все учителя должны читать письмо под страхом взыскания – вот тут я говорю “нет”. Для меня ситуация совершенно ясна. Задача историков – дать оценку этому письму, так предоставьте нам это право! А задача политиков как раз и состоит в том, чтобы следить за соблюдением этого права.

Возвращаясь к Вашему вопросу о противоречащих друг другу версиях памяти, перенесемся в Россию, насколько мне это позволяет знание российской ситуации, по поводу которой я не буду слишком долго распространяться. На мой взгляд, ее принципиальное отличие состоит в том, что с помощью комиссии³, которую попытался создать Д. Медведев, предпринимается попытка навязать официальную историческую истину в противовес альтернативным версиям (насколько они правдивы – это еще вопрос), разрабатываемым в новых независимых государствах, входивших прежде в состав СССР. Во Франции, напротив, определенные группы пытаются навязать свою версию истории, противоречащую коллективной памяти большинства нации, обвиняя ее в перегибах и кривотолках. Совершенно очевидно, например, что история колонизации была ложью со стороны власти, она была даже в большей мере, чем думают сами бывшие колонизованные, написана от лица колонизаторов, написана историками, принадлежавшими к миру колонизаторов. Сегодня многие хотели бы, чтобы история меньшинств заняла подобающее ей место.

Хороший пример, который я часто привожу, это проблема региональных языков во Франции. Сегодня наблюдается их возрождение. Для тех, кто живет в Бретани, Эльзасе или на Корсике, этот процесс очень важен, поскольку речь идет о сохранении языков, которые постепенно, после революции 1789 г., были вытеснены французским. Региональные языки рассматривались как грубые местные наречия, подлежащие искоренению. Однако защитники французского языка считают попытки возрождения региональных языков искусственными. Речь не идет о том, чтобы их запрещать, они даже получили государственную поддержку благодаря их включению в систему образования, но недопустимо и навязывать их употребление, поскольку на национальном уровне они не имеют законного статуса. Эти две противоположные точки зрения проявились в ходе конституционной реформы в 2008 г.

Борьба за региональные языки ведется непрерывно уже на протяжении как минимум 20 лет, они, кстати, получили признание на европейском уровне, благодаря принятию Европейской хартии о региональных языках⁴. Правда, Франция до сих пор не ратифицировала эту хартию. Так вот, в ходе конституционной реформы региональные ассоциации организовали мощное давление на парламентариев, с тем чтобы добиться, как минимум, включения в текст Конституции фразы о том, что региональные языки составляют часть национального достояния. Причем они хотели, чтобы эта фраза была включена в текст ст. 2, которая гласит: “Государственным языком Республики является французский язык”. Точка. Вот вместо этой точки они предлагали поставить запятую и продолжить: “региональные языки составляют часть национального достояния”. Но что, собственно, означает: “часть национального достояния”? Национальная кухня, например, тоже является частью национального достояния: никому же не приходит в голову записывать это в Конституции! Значит, в этой фразе был заключен некий особый смысл, некое противопоставление региональных языков государственному.

Разгорелся конфликт, в котором ни одной из сторон не удалось одержать полную победу. Региональные ассоциации добились включения в текст Конституции фразы о региональных языках, и в этом смысле они победили. Но эта фраза нашла свое место не во второй статье, а гораздо ниже, ближе к концу документа, а значит, бой наполовину проигран. Вот Вам пример того, как столкнулись две версии коллективной памяти, совершенно противоположные, и понадобилось политическое решение, чтобы разрешить возникший конфликт. В данном случае было найдено компромиссное решение. Этот пример хорош и для того, чтобы понять, что за конфликтом различных версий коллективной памяти всегда кроется конфликт идентичностей, и ничего более. Когда мы говорим “память”, мы имеем в виду “идентичность”. Это слово, вошедшее в оборот около 30 лет назад, сегодня понятно всем. Современные общества находятся во власти идентичностей. С этим ничего не поделаешь.

Е.Ф. Действительно, в последнее время в обеих наших странах возобновились дебаты о национальной идентичности. Россия, представлявшая себя на протяжении 70 лет советской власти страной атеистов и интернационалистов, сегодня примеряет образ православной страны, терпимо относящейся к национальным меньшинствам. Франция, традиционно светская и республиканская нация, колеблется между мультикультурализмом американского образца и национализмом правого толка. Некоторые ставят под сомнение республиканский универсализм, другие призывают к нему как к спасительной идеологии. Мой вопрос заключается в следующем: есть ли вообще смысл в понятии “национальная идентичность”, и обладает ли каждая нация своей собственной идентичностью?

П.Н. “Национальная идентичность”, с точки зрения историка, – это выражение, которого следует избегать, или, во всяком случае, которое следует употреблять с осторожностью. Для одних это понятие приобрело преступный смысл, ассоциируясь с недавно созданным Министерством иммиграции, интеграции и национальной идентичности, а также вызывая реминисценции с правительством Виши, провозгласившим

лозунг “Франция для французов”. Некоторые доходят до того, что вовсе отрицают существование национальной идентичности, считая ее чистой воды выдумкой и умозрительной конструкцией. Для других национальная идентичность – это некая константа биологического или духовного порядка, сохраняющаяся вопреки всем перипетиям истории, неизменная сущность бытия. И дальше начинаются бесконечные споры о том, что же такое “настоящая” Франция: страна прав человека или родная земля и могилы предков, Франция Де Голля или Франция Петэна? “Национальная идентичность”, “идентичность Франции” – два выражения с примерно одинаковым смыслом. Однако первое приобрело почти метафизический и трансцендентный характер, второе же соотносится с изменчивым историческим содержанием.

Сегодня дебаты о национальной идентичности возникли на фоне двух встречных течений: ослабления классической республиканской национальной идентичности и наступления эпохи, которую можно охарактеризовать как господство множества идентичностей. Пробуждение этих разнообразных идентичностей связано с эмансипацией всевозможных меньшинств, чья собственная история до сих пор находилась на периферии истории национальной. Меньшинства, часто до того не осознававшие себя таковыми, вдруг ощутили потребность заявить о своем существовании, отстоять свою отличительность, “возвратив” себе свое прошлое. Вплоть до 1970-х годов потомок аристократа, окончившего свой век на гильотине, внук расстрелянного коммунара и сын польского еврея, приехавшего во Францию в 1930-е годы, были частью одной и той же истории, пусть и в ее различных версиях – той истории, которая выражена знаменитым заголовком из школьного учебника истории: “Наши предки – галлы”.

Именно на этом двойном регистре коллективной идентичности основывалось чувство принадлежности к республиканской нации, и именно он сегодня разрушен. Сегодняшняя “демократическая” идентичность Франции строится на самосознании скорее социальном, нежели политическом, скорее мемориальном, чем историческом, скорее родовом, чем национальном. Не осознав масштаб всех этих изменений, невозможно понять, почему и как ставится сегодня вопрос о национальной идентичности. В то же время, чтобы не действовать вслепую, необходимо учитывать чрезвычайно неустойчивый, подвижный, изменчивый характер новых групповых идентичностей.

Вот почему любая “спущенная сверху” дискуссия о национальной идентичности не может не страдать упрощающим манихеизмом и рискует стать опасно неуправляемой. Ее инициаторы указывают на иммигрантов и мусульман как на абсолютного Другого по отношению к французской нации. Между тем решающими словами этой новой демократической идентичности должны были бы стать, напротив, понимание изнутри каждой особой ситуации, способность договариваться, третейский суд, ранжирование проблем по значимости, взвешенность и осознанность в принятии решений.

Е.Ф. Понятие патриотизма сегодня практически вышло из употребления во Франции, тогда как в России, после нескольких лет умышленного забвения, оно снова завоевывает место в общественном дискурсе. Между тем во Франции символы государства (например, трехцветный республиканский флаг и девиз “Свобода, равенство, братство” на фронтонах всех государственных учреждений вплоть до детских яслей) не менее, если не более заметны в окружающем пейзаже; воинские кладбища и памятники павшим в различных сражениях тщательно ухожены; имена улиц и площадей французских городов напоминают о героических личностях, военных победах и других славных страницах национальной истории. Неужели современным французам действительно чуждо патриотическое чувство?

П.Н. Я думаю, что изменилась сама природа патриотизма. Французы ничуть не меньше, чем прежде, любят свою страну, но любят ее иначе. Это совершенно естественно, ведь со времен войны в Алжире Франция больше ни разу не воевала, если не считать отправки отдельных воинских подразделений в Афганистан – но это не создает ощущения, что страна воюет. Впервые чуть ли не со времен крестовых походов мы

так долго живем без войны, и это не может не иметь последствий. К тому же все три войны, в которых Франция участвовала в XX в., окончились для нее поражениями. Да, формально в 1918 г. мы победили, но очень скоро поняли, что вся Европа потерпела крушение. Надо было дожидаться прихода к власти в Германии нацизма, чтобы понять, что победа в Первой мировой была пирровой победой. В 1945 г. мы отпраздновали ложную победу, потому что ей предшествовало поражение в 1940-м, и только Де Голль сумел чудом сделать так, что в итоге Франция оказалась в ряду победителей. И, наконец, войны в Алжире и еще ранее – в Индокитае, окончание эпохи колониализма также знаменовали собой поражение, даже несмотря на то, что все тот же Де Голль сделал все для того, чтобы заставить поскорее забыть о нем, сумев уже в 1962 г. ввести Францию в клуб ядерных держав.

Я думаю, тем не менее, что эти ложные победы и истинные поражения неминуемо должны были глубоко повлиять на национальное чувство. В отсутствие войны стране угрожает лишь... отсутствие внешней угрозы, и угрожает вполне всерьез. В результате сегодняшние французы очень любят свою страну, но абсолютно не желают за нее умирать! Зато они как бы заново открывают для себя все то, что послевоенное экономическое развитие почти или совсем разрушило во Франции: ремесла, пейзажи, кухню, традиции.

Все имеющее отношение к традиции чрезмерно и иногда экзальтированно превозносится. Так, несмотря на то, что отношения между людьми претерпели глубокие изменения, существует старинная традиция, к которой французы очень восприимчивы и которая во многом определяет способ жизни и поведения в обществе. Благодаря развитию местного туризма мы заново открываем в себе любовь к старым камням, к местным традициям. Произошло замещение жертвенной привязанности к Франции, традиционной привязанности к Отечеству (“патриот” – это тот, кто готов умереть за Отечество) чувственной, но очень сильной привязанностью (я бы назвал ее “патриотизмом-влюбленностью”) к тому традиционному единству, однородности, которым, как считается, угрожают модернизация, глобализация и массовая иммиграция. Это замещение – своего рода ответ на утверждение множества разных идентичностей, во всех возможных смыслах этого слова, в противовес смутному понятию “нации”. Да, мы любим свою страну, но, может быть, не столь сильно любим ее недавнее прошлое. Отсюда желание вычеркнуть из истории ее темные моменты.

Е.Ф. Еще один непростой вопрос, который вы сформулировали во время Вашего выступления в Москве: “могут ли человечество в целом и национальные сообщества в частности обойтись без идеи о своем историческом наследии и без позитивного осознания своего прошлого”? Как бы Вы сами на него ответили?

П.Н. Как бы я на него ответил? Это тем более сложно, что политики и власть не уделяют должного внимания истории. Как Вы знаете, количество учебных часов, отводимых на преподавание истории, постоянно сокращается, что отнюдь не облегчает задачу познания прошлого. Кроме того, непросто говорить с учениками о прошлом так, как мы с Вами сейчас это делаем. Обычно учителя рисуют его в черно-белых красках: или все плохо, или все хорошо. Как объяснять детям или молодым людям национальную историю – сегодня это большой вопрос, и причин тому несколько. Прежде всего необходимо “вписать” национальную историю в историю всемирную. Если у учителя мало времени, и он объясняет, например, колониальную историю односторонне: “наши путешественники”, “наши миссионеры”, “наши солдаты”, “распахали земли, построили больницы, школы, дороги повсюду, где они находились” – такую правду достаточно легко внушить. Если же он хочет рассказать об истории стран Африки или Азии, то тут придется объяснить, что это были за страны, какое в них было население, что эти люди думали о своей жизни и о своем собственном прошлом – и времени на это понадобится гораздо больше.

История распадается на фрагменты. Преподавать национальную историю одновременно со всемирной очень сложно. Например, как определить, какое место занимает Жанна д'Арк в истории Европы? Ведь это личность отнюдь не только национального масштаба! Кроме того, совершенно очевидно, что лет 30–40 назад произошел разрыв времен. Люди моего поколения еще были воспитаны в традиции исторической преемственности и непрерывности. Мы чувствовали себя наследниками наших отцов, дедов и прадедов, мы понимали, откуда мы пришли, и в результате мы более или менее знали, куда мы идем. И знали, что мы должны усвоить из прошлого, чтобы туда придти – по крайней мере, наши учителя это знали. Это было коллективное знание. Сегодня его больше нет. В результате разорвана связь с прошлым. Я думаю, что ее еще можно отыскать, хотя и готов признать, что это будет не просто. Я не думаю, что уже слишком поздно.

Многие учителя пытаются сделать то, что в их силах, и многие ученики еще интересуются историей. Иногда это так называемая локальная история, и у нее есть свои достоинства. Возьмите в каждом доме по три семьи, расспросите их об их жизни, откуда они родом, чем они занимаются..., и вы узнаете, что ваша семья не похожа на семьи, живущие по соседству. Но возможности локальной истории ограничены. И действительно, в обществе должен быть некий консенсус в отношении коллективной истории, которую следует преподавать. Я думаю, что такой консенсус достижим, но его нелегко привести в соответствие с современными требованиями. Нужно суметь примирить различные версии прошлого.

Меня однажды пригласили в школу, чтобы я рассказал старшеклассникам историю “Марсельезы”. И я оказался в очень тяжелой ситуации. Несколько учеников подошли ко мне после урока, чтобы выразить несогласие с моими словами. Но больше всего меня поразил их учитель, сказавший мне буквально следующее: «Как же Вы не понимаете, для них “Марсельеза” и французский флаг – это символы угнетения». Но для кого это – “для них”? Для части мусульман – возможно, но тем более важно объяснить им, что французское знамя и Марсельеза были сначала символами освобождения, свободы, прежде чем стать, в условиях колонизации, символом угнетения. Ученики, как выяснилось, вообще ничего не знали о “Марсельезе”, кроме того, что ее поют на стадионах. И это – старшеклассники! А когда я спросил их, кто написал “Марсельезу”, один из них ответил: “Зинедин Зидан”!»!

Е.Ф. В разговорах с “обычными” французами мне не раз приходилось слышать: мол, неплохо бы переписать слова национального гимна. Мелодия хороша, а слова явно устарели, негоже в наше время призывать граждан к оружию. У нас в стране такое продельвали уже не раз. Сначала после XX съезда, развенчавшего культ личности, из текста советского гимна убрали упоминания о Сталине. Затем, адаптируя старый гимн к посткоммунистической России, изъяли слова о партии и Ленине, а место “союза нерушимого республик свободных” заняла “храняемая богом священная держава”. Меня лично такие переделки не убеждают...

П.Н. Меня тоже. Нужно объяснять, что гимн имеет ритуальный характер. “Марсельеза”, например, была написана в военное время как гимн сражающейся армии, освобождавшей страну от захватчиков. Неофициальный британский гимн “Боже, храни короля” – это религиозное песнопение, что не мешает всем, в том числе и атеистам, принимать его таким, как он есть. Я против того, чтобы переписывать слова Марсельезы – к тому же, многие ли сегодня знают ее слова? Я, например, не помню их наизусть, хотя я их специально изучал и даже писал о них. Но в то же время я не вменял бы в обязанность каждому быть способным спеть Марсельезу, как было недавно предложено. Это нелепо. Я бы сохранил слова, предоставив людям свободу петь или не петь гимн. Кто-то, возможно, никогда не будет его петь, другие будут петь в каких-то случаях, а в каких-то – нет.

Е.Ф. Большое спасибо за эту беседу!

Париж, 12 апреля 2010 г.

Примечания

¹ Les Lieux de Mémoire. Vol. 1–3. Paris, éditions de Gaillimard, 1984–1992.

² Ги Моке – шестнадцатилетний юноша, сын депутата-коммуниста, расстрелянный фашистами в 1941 г. Сохранилось его предсмертное письмо родителям, в котором он выражает решимость умереть, не предав своих товарищей. Именем Ги Моке названа станция в парижском метро, а также улицы в нескольких городах Франции. Он похоронен на кладбище Пер-Лашез.

³ Речь и дет о комиссии при президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России”, созданной указом Д.А. Медведева.

⁴ Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств принята в Страсбурге 5 ноября 1992 г.

E.I. Filippova. History and Memory in the Epoch of Dominating Identities: An Interview with Pierre Nora, Historian and Member of the French Academy

Keywords: history, memory, identity, France, minorities, patriotism

The conversation between Elena Filippova and Pierre Nora takes on the issues of the relationship between history and collective memory, and the emergence of alternative versions of history that are written on behalf of minorities and contradict the “official” version approved by the authority of the ruling power. The interlocutors discuss the historical conditions that are conducive to changes in the ways the society understands its own past, as well as the part played by various persons such as historians, politicians, teachers, and civil activists in debates over national identity. They point to parallels between the situation in France and that in Russia at the turn of the centuries.